

Чужие люди. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Чужие люди. Максим Горький

В журнале "Врач" напечатана корреспонденция из Владивостока:

Здесь среди босяков умер врач А.П.Рюминский. Когда несчастный заболел, его отвезли было в городскую больницу, но там его не приняли за неуплату денег за прежнее время, и А.П. пришлось умирать в участке. Босяки устроили покойному тёплые проводы, причём один из них сказал следующую прощальную речь: "Ты жил между нами, покинутый и забытый своими... То горе жизни и те пороки, которые мы носили и делили вместе, были нашим общим несчастьем. И вот мы здесь... собрались проводить тебя в желанную для всех нас могилу..."

Я дважды встречал этого человека: в 91 году около Майкопа, на Лабе, а потом, лет через десять, в Ялте. На шоссе, над Лабою, компания ростовских босяков "била щёбёнку". Я набрёл на них вечером, когда они, кончив работу, готовились пить чай. Толстый бродяга с длинной седою бородой озабоченно прилаживал чайник над маленьким костром; в стороне, под кустами, лежало трое его товарищей и сидел на куче булыжника кто-то в чесунчовом костюме (чесунча или чесуча - грубоватая, матовая шёлковая, или в смеси с хлопком, ткань с неравномерной рельефной поверхностью желтовато-белого цвета из волокна дикого шелкопряда - Ред.), в широкой соломенной шляпе и белых туфлях. Он держал в пальцах папиросу, отсекал взмахами тоненькой трости серый дымок табака и, не глядя на людей, спрашивал их:

- Так - как же, а?

На синеватой воде быстрой Лабы колыхались кумачовые отблески зари; рыжая, бритая степь дышала жаром, за рекою сверкали, точно груды парчи,, огромные ометы соломы, в туманной дали поднимались к небу лиловые горы, и где-то далеко торопливо тарыхтела молотилка.

Человек с опухшим лицом больного водянкой грубовато сказал:

- Вы, барин, бросьте очки втирать мне, я сам фельдшер...

- Вот как?

- Да. Так-то вот...

- Вот как? - повторил барин, помахивая тростью, отсекая дым. И, взглянув на меня странными глазами, спросил:

- А вы кто, молодой человек?..

- Молодой человек, - ответил я; босяки одобрительно взглянули на меня.

Выпуклые глаза "барина" очень ярки и, улыбаясь насмешливой улыбкой, точно присасывались к лицу моему. Этот сухой, хватаящий взгляд вызвал у меня неприятное ощущение щекотки и навсегда остался в памяти моей. Тонкое, холёное, чисто выбритое лицо человека было надменно. Когда один из босяков, лениво переваливаясь с бока на бок, коснулся его ног, человек быстро отёрнул маленькие ноги свои и предостерегающе поднял трость белой, изящной рукою. На пальце его золотой перстень с крупным опалом, "камнем несчастья", в радужной игре опала было что-то общее с блеском глаз надменного человека. Ленивеньким, но раздражающим, задорным баритоном он всё выпрашивал людей: кто они? Отвечали ему неохотно, грубо, но это не смущало его, он переводил крепко обнимающий взгляд с одного лица на другое и назойливо говорил:

- А что же будет, если все начнут жить так же безответственно, как вы?

- Мне какое дело? - сердито пробормотал фельдшер, а бородатый, у костра, спросил хрипящим голосом:

- Вы - кому отвечаете?

И победоносно добавил:

- То-то!

С чудесной быстротою, незаметно, степь покрылась южной ночью, на потемневшем небе вспыхнул густой посев звёзд, на реке заколыхался чёрный бархат, засверкали золотые искры. В торжественной траурной тишине стал почему-то сильнее слышен горький запах дыма.

Люди, достав из котомок хлеб и вкусное сало, начали есть, а барин, щёлкая тростью по своим туфлям, всё спрашивал:

- Но что же будет, если порвать все связи с жизнью?

Седой угрюмо ответил:

- Ничего и не будет.

Где-то за рекою уныло скрипела арба, посвистывали суслики. Костёр угасал, красненькие искры прыгали в воздух, бесшумно откатывались в сторону круглые угли сгоревших веток.

- Аркадий Петрович! - донёсся издали звонкий, женский голос. Человек с перстнем ловко встал на ноги, сбил пыль с брюк ударами трости и, сказав: "До свидания!" - пошёл берегом реки в темноту. Его проводили молча.

- Кто это? - спросил я.

- А чёрт его знает...

- Тут, у казаков живёт, на даче, что ли...

- Назвался - доктором.

Отвечали намеренно громко, явно желая, чтоб человек слышал, как говорят о нём. Тоненький, рыжий босяк с язвами на лице вытянулся на земле вверх лицом и сказал:

- До звезды - не доплюнешь.

А фельдшер сердито проворчал:

- В Турцию надо пробираться, братья. Хороший народ турки. Надоело мне здесь...

...Однажды, не встретив Д.Н.Мамина-Сибиряка в городском саду Ялты, обычном месте наших свиданий, я пошёл к нему в пансион и, войдя в комнату Мамина, сразу наткнулся на выпуклые глаза. Яркий блеск их тотчас напомнил мне вечер на Лабее, босяков и доктора в чесунче.

- Вот, знакомьтесь, - сказал Дмитрий Наркисович, махнув на гостя короткой, толстой рукою, - интересная миазма!

Гость приподнял голову и снова опустил её, упёршись подбородком в край стола; так - голова его казалась отрезанной. Сидел он согнувшись, далеко отодвинув стул, руки его были скрыты под столом. С обеих сторон лысого черепа рогато и задорно торчали вихры сивых волос, открывая маленькие уши. Мочки ушей оформлены резко, как будто вспухли. На бритом лице воинственно топорщились серые усы. На нём синяя рубаха, оторванный ворот её не застёгнут, обнажает кусок грязной шеи и мускулистое правое плечо. Сидит он так, как будто приготовился перепрыгнуть через стол, а под столом торчат его босые ноги в татарских туфлях. Зорко присматриваясь ко мне, он говорит знакомым, ленивеньким баритоном:

- Есть такой грибок, по-латыни его зовут: мерулиус лакриманс, плачущий; он обладает изумительной способностью втягивать влагу воздуха. Дерево, заражённое им, гниёт с чудовищной быстротой. Достаточно, чтоб одна балка построенного вами дома была поражена этим грибком, и - весь дом начинает гнить.

Подняв голову, доктор стал медленно высасывать пиво из стакана, двигая острым кадыком; кадык и щёки его были покрыты тёмной густой шерстью.

Чужие люди. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Мамин, уже сильно выпивший, внимательно слушал, выкатив свои огромные, круглые глаза. Под его армянским носом дымилась любимая коротенькая трубка, он покачивал голову и сопел, втиснув круглое, тучное тело своё в плетёное кресло.

- Всё врёт, миазма, - сказал он, когда гость начал пить, а гость, опустошив стакан, снова наполнил его и, облизывая намокшие в пене усы, продолжал:

- Так вот: русская литература - нечто очень похожее на этот грибок; она впитывает всю сырость жизни, грязь, мерзость и неизбежно заражает гниением здоровое тело, когда оно соприкоснётся с нею.

- А? - спросил Мамин, толкнув меня локтем. - Каково?

- Литература - такое же болезнетворное, гнилостное начало, как этот плачущий грибок, - невозмутимо и настойчиво повторил гость.

Мамин начал тяжело ругать злого критика и, схватив пустую бутылку, застучал ею по столу. Боясь, как бы он не стукнул по лысому черепу гостя, я предложил ему пойти гулять, но гость встал и бесцеремонно - кажется, искусственно - зевнул.

- Это я пойду гулять, - сказал он, усмехаясь, и ушёл, шагая легко, быстро, как привычный пешеход.

Дмитрий Наркисович рассказал мне, что человек этот привязался к нему в порту, заинтересовал его своим злоречием и второй день раздражает, всячески порицая литературу.

- Присосался, как пиявка. Отогнать - духа не хватает, всё-таки он интеллигентный подлец. Доктор Аркадий Рюминский, фамилия от рюмки, наверное. Умная бестия, злая! Пьёт, как верблюд, а не пьянеет. Вчера я с ним целый вечер пил, он рассказал мне, что пришёл сюда повидаться с женой, а жена у него будто бы известная актриса

Мамин назвал имя громкое в те годы.

- Действительно, она здесь, но, наверное, эта миазма врёт!

И, свирепо вращая глазами, он стал издеваться надо мною:

- Это - ваш товар, ваш герой, очень хорош! Лгунице. Все неудачники лгуны. Пессимизм - ложь потому, что пессимизм - философия неудачников...

...Дня через два, поздно ночью, гуляя на холме Дарсан, я снова встретил доктора: он сидел на земле, широко раскинув ноги, пред ним стояла бутылка вина и на листе бумаги лежала закуска - хлеб, колбаса, огурцы.

Я снял шляпу. Вздёрнув голову, он присмотрелся ко мне и приветствовал жестом, воскликнув бойко:

- Ага, узнал! Хотите составить компанию? Садитесь.

И, когда я сел, он, подавая бутылку, измерил меня цепким взглядом.

- Из горлышка, стакана нет. Странная штука: как будто я уже встречал вас в детстве моём?

- В детстве - нет.

- Ну, да, я лет на двадцать старше вас. Но - детством я называю время лет до тридцати; всё то время, которое я прожил в условиях так называемой культурной жизни.

Барский баритон его звучал весело, слова соскакивали с языка легко. Крепкая, холщовая рубаха солдата, турецкие шаровары и сапоги на ногах показывали, что человек этот хорошо заработал.

Я напомнил ему, где видел его впервые; он внимательно выслушал меня, ковыряя в зубах былинкой, потом знакомо воскликнул:

- Вот как? Чем же вы занимаетесь? Литератор? Ба! Вот как! Ваше имя? Не знаю, не слышал. Впрочем, я вообще ничего не знаю о современной литературе и не хочу знать. Моё мнение о ней вы слышали у этого, у Сибиряка - он, кстати, удивительно похож на краба! Литература, - особенно русская, гниль, ядовитое дело для людей вообще, маниакальное для вас, писателей, писателей, сочинителей.

В этом тоне, но очень добродушно и с явным удовольствием он говорил долго, я же слушал его терпеливо, не перебивая.

- Не возражаете? - спросил он.

- Нет.

- Согласны?

- Нет, разумеется.

- Ага! Возражать мне - ниже вашего достоинства, так?

- Тоже нет. Но - ниже достоинства литературы.

- Вот как? Это - хорошо...

Запрокинув голову, закрыв глаза, он присосался к горлышку бутылки, выпил и, крякнув, повторил:

- Это - хорошо. Слышу голос человека церкви. Вот так, когда для кузнеца церковь - кузница, для матроса - его судно, для химика лаборатория, только так и можно жить, никому не мешая своей злобой, капризами, привычками. Жить хорошо - значит жить полуслепым, ничего не видя и не желая, кроме того, что нравится. Это - почти счастье, уютный уголок, куда человек воткнулся носом, эдакий маленький, полутёмный чуланчик. Шатобриан - читали "Записки из могилы"? - говорит: "Счастье - пустынный остров, населённый созданиями моего воображения".

Он говорил, как человек, только что освобождённый из камеры одиночного заключения, точно желая убедиться: не забыты ли им слова?

В городе, где-то близко, звучал рояль, по набережной щёлкали подковы лошадей, чёрная пустота висела над городом, вдали ползал золотой жук огонь судна, напоминая о широте моря. Человек смотрел вдаль, и глаза его напомнили мне опал перстня, хвастливо блестящий вечером, на берегу лабы.

- Счастье - это когда человек хорошо выдумал себя и любит выдумку о себе, - негромко говорил он, и вспыхивала папироса, освещая тонкий, прямой нос, щётку усов и тёмный подбородок.

- Любить себя доступно и свинье, собаке, каждому животному, это инстинкт. Человек должен любить только то, что он сам создал для себя.

Я спросил:

- А что любите вы?

- Моё завтра, - быстро ответил он, - только моё завтра! Я имею счастье не знать, каково оно будет. Вы - знаете это: проснувшись, вы будете писать или делать что-то другое, обязательное для вас, потом увидите толстого рака Мамина или ещё каких-то знакомых; вы, наверное, носите ваш костюм уже не первый месяц. А я не знаю, что стану завтра есть, что буду делать, с какими людьми позволю себе говорить. Вы, конечно, думаете, что пред вами алкоголик, беспутный, отверженный человек? Вы ошибаетесь, если так. Я терпеть не могу водку, пью только вино, редко - пиво, и я не отверженный, а - отвергнувший.

Воодушевление этой речи не позволяло сомневаться в искренности человека. Я попросил: не расскажет ли он, что побудило его отвергнуть обычные условия жизни интеллигентного человека? Хлопнув меня ладонью по колену, он шуточно воскликнул:

- Хотите записаться материальцем?

Затем охотно и немножко хвастливо, любуясь своей речью, как адвокат, он начал рассказ о себе, – рассказ, в котором, вероятно, было не меньше правды, чем во всякой другой автобиографии.

– Сознательную жизнь мою я начал ошибкой: увлечением естественными науками, биологией, физиологией – науками о человеке. Естественно, что это увлечение толкнуло меня на медицинский факультет. С первого же курса, препарирова трупы, я задумался о ничтожестве человека, почувствовал чью-то злую иронию надо мною, и у меня стала развиваться брезгливость к людям и отвращение к себе, человеку, который обязан быть трупом. Мне следовало бросить это грязное дело, но – я упрям и захотел победить себя. Вы пытались побеждать себя? Это так же невозможно, как, отрезав свою голову, заменить её головою ближнего, это невозможно не только потому, что ближний едва ли согласится на такой обмен.

Ему понравилась шутка, он сочно засмеялся, потом, закрыв глаза, глубоко вдохнул солёный, свежий ветер.

– Хорошо пахнет море... Итак, я задумался: что такое и где – душа, разум и так далее. Скоро мне стало ясно, что разум, навеки полуслепая собака Сатаны, зависит от функций организма, а мир особенно отвратителен, когда у меня ноют зубы, болит голова или печень. Мышление – функционально, только воображение независимо. Это недурно понимал один английский епископ, но – не думайте, что я идеалист или какой-либо другой "ист". Неистово враждую со всякой философией, хотя – хотя, конечно, понимаю, что философия – неизлечимая болезнь мозга. Кратко говоря, я – человек, который отказался принимать пустяки серьёзно, обманывая себя и других. То, что именуется культурой, вся внешняя и внутренняя мишура, увлекающая людей всё глубже и далее в хаотическую бесполезность... Впрочем, вы, наверное, поклонник культуры? Я не хотел бы огорчить вас...

– Огорчайте, – и разрешил ему и попросил я. – Мне так хочется понять, что за человек вы?

– Вот как? Ну, что ж...

Сотней ловко сказанных слов этот человек разрушил культуру в пыль и прах. Он сделал это с весёлой яростью, подобной ярости гимназиста, который, кончив учиться, уничтожает учебник. Свежесть ночи, сжимая, умаляла доктора; засунув руки в рукава рубахи, он скорчился и, тоненький, гибкий, стал похож на подростка. Внизу, далеко, во тьме, повис растрёпанный пучок огней, он плыл на север, откуда тьма дышала сыростью. В окнах домов города, вздрагивая, исчезали жёлтые пятна, и казалось, что дома, один за другим, быстро низвергаются в черноту моря.

– Я был красив, ловок, умел говорить забавно, и меня очень любили женщины. На одной из них, актрисе, я женился, когда мне было тридцать лет; женился из упрямства, она любила меня меньше других. В то время я уже чувствовал, что всё это – театрики, концертики, разговорчики о литературе, ахи и охи по вопросам политики – не для меня. После того, как увидишь человек двадцать, тридцать, а то и сотню людей, которых неизвестно зачем грызут и убивают мучительнейшие болезни, – Чайковский, Островский, Достоевский и прочие подобные напоминали мне равнодушной и противную старуху Букину, сиделку больницы; она имела гнусную привычку утешать больных и умирающих, сладко рассказывая им про ужасы ада. Я чувствовал себя в культуре чем-то вроде приказчика в магазине модных вещей: лично мне эти вещи не нужны, а приходилось возиться с ними, даже пользоваться ими и хвалить – из вежливости. Жизнь суть драка; вежливость же – тот фиговый лист, которым можно прикрыть скотское и звериное в человеке. У меня хорошая талия, я не любил подтяжек, брюки и без них сидели хорошо, а жена требовала, чтоб я носил подтяжки, – все носят! И – представьте! – на этой почве – подтяжки, галстуки, книги – мы с женою драматически ссорились. Я думаю, что она часто устраивала мне сцены из профессиональных побуждений, для практики. Она часто говорила мне: "О, Аркадий, нигилизм не в моде!" Она – не глупая женщина, и даже говорили, писали – талантлива.

Доктор засмеялся, – не очень весело, как показалось мне. Потом, извиваясь на земле, сказал:

– Кажется, будет дождь, чёрт его возьми!

Вынул из кармана брюк войлочную крымскую шляпу и туго натянул её на свой лысый череп.

- Рассказывать - долго. И - скучно. Мораль - проста: если я осуждён на смерть, я имею право жить, как хочу. Человеческие законы совершенно не нужны мне, если стихийный закон всеобщего уничтожения обязателен и для меня. Вы меня встретили там, на Кубани, как раз в те дни, когда я догадывался об этом. Но, разумеется, идея пришла постфактум, как говорили римляне, лучшие люди мира, ибо всякий сентиментализм, гуманизм и прочее такое было органически, решительно враждебно им. Идеи всегда являются после фактов, их вызывает наша дурная привычка оправдываться, объясняться. Зачем оправдываться? Не знаю. Да. В сущности, я отошёл, потому что захотел, а объяснение явилось потом. Уродливо много в жизни нашей обязанности, ответственностей и прочих комедий. Не хочу комедии, сказал я сам себе и раскланялся с культурой. С того дня прошло - лет десять. Я прожил их очень интересно, вполне независимо и надеюсь так же прожить ещё лет десяток. Ну-с, спасибо за компанию и - до свидания в лучшем мире!

- Это - в каком?

- О, разумеется - здесь, на земле, но в том, где я живу. Надеюсь, что вы сопьётесь и это возвратит вас на правильный путь - прочь от пустыков, прочь!

Он быстро пошёл вниз, в сторону Мордвиновского парка, и вслед ему стеклянными бусами посыпался дождь, зашуршала трава... Дня два искал я его в кофейнях базара, в ночлежках, в порту, но не нашёл. Хотелось ещё раз послушать его речи.

Мамин-Сибиряк написал рассказ о встрече босяка-доктора с его женою, знаменитой артисткой. Не помню, как озаглавлен этот рассказ. Босяк изображён в нём несчастнейшим пьяницей и не похож на человека, каким доктор Рюминский захотел показаться мне.

Людей такого типа, - людей, по их словам, сознательно ушедших от "нормальной" жизни, - должно быть, немало на Руси. Вот ещё заметка "Нового времени" о человеке, видимо, подобном доктору Рюминскому.

Оригинальный бродяга

Во время одной из облав, устроенных чинами полиции, задержан, - по словам "Варшавского курьера", - оригинальный бродяга, некто Г., человек уже пожилой, лет 50. Все документы его оказались в порядке, и он не мог только указать своего места жительства. По наведённым справкам, Г. оказался состоятельным человеком, любящим сильные ощущения. Интересуясь жизнью бродяг и бездомных, он, после смерти жены, поместил дочь в один из пансионатов, а сам начал бродячую жизнь профессиональных бродяг, ночуя в печах кирпичных заводов и т.п. Только зимой, во время сильных морозов, Г. возвращается в Варшаву и переживает морозы в одной из гостиниц. Захваченный вместе с толпой бродяг, Г. обещал переменить образ жизни, "хотя, - добавил он, - ручаться за это не могу".

В девяностых годах я собирал заметки на эту тему и собрал их десятка три, но в 905 году пакет, в котором они хранились, отобранный у меня при обыске, был потерян в Петербургском жандармском управлении. Лично я встретил таких людей тоже немало. Особенно памятен для меня Башка, человек, которого я видел на постройке железной дороги Беслан - Петровск.

В тесной горной щели, среди суетливой толпы рабочих, он сразу привлёк моё внимание: он сидел на солнечной стороне ущелья, в груди взорванных динамитом камней, а у ног его сверлили, дробили и возили камень пёстрые, шумные люди. Полагая, что этот человек - "начальство", я пробрался к нему и спросил: нет ли работы? Тоненьким, сверлящим ухо голосом он ответил:

- Я не идиот, я не работаю.

Уже не впервые слышал я слова такого тона, они не удивили меня.

- Что же вы делаете здесь?

- Видишь - сижу, курю, - сказал он, оскалив зубы.

В широкой разлетайке, в котелке с оторванными полями, он напоминал летучую мышь. Его маленькие острые уши торчали настороженно. У него большой лягушачий рот; когда он улыбнулся, нижняя губа дрябло опустилась, открыв плотную линию мелких зубов. Это сделало улыбку холодной и злой. Глаза его необыкновенны: в узком золотистом кольце белков мерцают тёмные, круглые зрачки ночной птицы. Лицо – голое, точно у пастора, ноздри длинного, тонкого носа уродливо сплющены. В длинных пальцах музыканта он держал толстую папиросу, быстрым жестом совал её в рот, глубоко втягивал дым и кашлял.

– Вам вредно курить.

Он ответил очень быстро:

– А тебе – говорить, сразу видно, что глуп...

– Спасибо.

– Носи на здоровье.

И, помолчав минуту, искоса посмотрев на меня, он посоветовал несколько мягче:

– Уходи, здесь работы нет!

В небесах над ущельем озабоченно хлопотал ветер, сгоняя облака, точно стадо овец. На солнечной стороне ущелья качались рыжие, осенние кусты, сбрасывая мёртвый лист. Где-то близко рвали камень, гулкий гром перекатывался по горам; визжали колёса тачек, мерно стучал молот, загоняя в горную породу стальные "иглы", высверливая глубокие дыры для зарядов.

– Жрать хочешь? – спросил горбун. – Сейчас засвистят к обеду. Сколько вас шляется по земле, – заворчал он, сплюнув.

Пронзительный свисток разрезал воздух, – точно металлическая струна хлестнула по ущелью, заглушив все звуки.

– Иди, – сказал горбун.

Быстро разбрасывая по камням свои руки, ноги, ловко цепляясь ими, он, точно обезьяна, бесшумно и уродливо скатился вниз. Обедали сидя на камнях и тачках вокруг котлов, ели кашу из проса с бараньим салом, горячую и очень солёную. За нашим котлом шесть человек, не считая меня. Горбун вёл себя, как власть имущий; отведав кашу, он сморщил своё лицо и, грозя ложкой старику в дамской соломенной шляпе, закричал сердито:

– Опять пересолил, подлец!

Пятеро людей зарычали, большой чёрный мужик предложил:

– Вздуть его надо...

– Кашу варить можешь? – спросил меня горбун. – Не врешь? Смотри же! Вот этого попробуем, – распорядился он, и все согласились с ним.

После обеда горбун ушёл в барак, а старик кашевар, добродушный и красноносый, показывая мне, где лежит сало, просо, хлеб и соль, вполголоса говорил:

– Ты не гляди, что он горбат, он – барин, помещик, предводителем дворянства был, да-а! Голова! Он у нас вроде бы старосты, да-а! Все счета-расчёты ведёт, ух строгой! Он – редкой, да-а...

Через час в ущелье снова загрохотала работа, забегали люди, а я стал мыть в ручье котлы и ложки, зажёл костёр, повесил над ним чайники с водой, потом принялся чистить картофель.

– Был поваром? – раздался тонкий голос горбуна; он подошёл неслышно, встал сзади и внимательно смотрел, как я действую ножом. Когда он стоял, его сходство с летучей мышью увеличивалось.

- В полиции не служил? - спросил он и тотчас же сам себе ответил:

- Впрочем - молод.

Взмахнув крыльями разлетайки, точно нетопырь, он прыгнул на камень, на другой, быстро взобрался на гору и сел там, густо дымя папиросой.

Моя стряпня понравилась, рабочие похвалили меня и разбрелись по ущелью, трое начали играть в карты, человек пять стали мыться в горном холодном ручье; где-то, среди камней и кустов, запели казацкую песню. В этой группе было двадцать три человека, считая меня и горбуна, все они обращались к нему на "ты", но уважительно и даже как будто со страхом.

Он молча сел на камень у костра, разгребая угли длинной палкой, около него, не спеша, собралось человек десять; чёрный мужик, точно огромная собака, растянулся у его ног, тощенький, бесцветный парень просительно сказал:

- Да - не возитесь! Тише...

Горбун заговорил, ни на кого не глядя, внушительно и звонко:

- Значит: есть судьбы, подсудьбинки и доли...

Я удивлённо взглянул на него; заметив это, он строго спросил:

- Ну?

Все уставились на меня, чего-то ожидая; смотрели - неприязненно. Помолчав, плотнее окутав плечи, горбун продолжал:

- Доли - это вроде ангелов-хранителей, только их приставляет к человеку Сатана.

- А - душа? - тихонько спросил кто-то.

- А душа - птица, которую ловит Сатана, - вот!

Говорил он чепуху, но - страшную. Он, видимо, знал статью Потевни "О доле и сродных с нею существах", но серьёзное содержание научной статьи у него смешалось со сказками и мрачными вымыслами. К тому же он скоро утратил простоту речи и заговорил литературно, почти изысканным языком.

- С начала дней своих человечество окружено таинственными силами, понять их оно не может, бороться с ними - не умеет. Древние греки...

Его острый, напряжённо звенящий голосок, непонятные сочетания слов и, должно быть, жутковатый внешний облик его - всё это действовало на людей подавляюще: они слушают молча и смотрят в лицо учителя, как верующие - на икону. Птичььи глаза горбуна мерцают напряжённо, дряблая губа его шевелится и как будто пухнет, становясь всё толще, тяжёле. И мне кажется, что в его мрачных выдумках есть нечто, чему он сам верит и чего боится. Лицо его умывают красноватые отблески костра, а оно становится всё более тёмным и угрюмым.

Над ущельем недвижимо повисли серые облака; в сумраке огонь костра густеет, становясь всё красней, камни растут, суживая глубокую щель горы. За спиной у меня ползёт, плещет ручей и что-то шуршит, точно ёж идёт в сухой траве.

Когда стало совсем темно, рабочие, озираясь, пошли в барак, кто-то сокрушённо, вполголоса сказал:

- Вот она, наука-то...

Ему - ещё тише - ответили:

- До чертей дошла...

Горбун остался у костра, ковыряя палкой угли. Когда конец палки загорался, он, подняв её, держал в воздухе, как факел, и смотрел совиными глазами на жёлтые



Чужие люди. Максим Горький gorki.ucoz.ru  
перья огня. Перья, отрываясь, улетали в воздух, тогда он быстро крутил палкой, и в воздухе, над головой его, являлся красный нимб. Голова его, в котелке без полей, напоминала чугунную гирю, воткнутую дужкой в широкие плечи горбуна.

Два дня наблюдал я, стараясь понять: что это за человек? Он тоже присматривался ко мне подозрительно и зорко, но не разговаривал со мною и на вопросы мои отвечал грубо. После ужина, у костра, он рассказывал людям устрашающее:

- Тело человека построено, как пемза, или губка, или хлеб, оно ноздревато, понимаете? И по всем ноздрям его течёт кровь. Кровь - жидкость, в которой плавают миллионы невидимых глазу пылинок, но пылинки эти живые, как мошки, только - мельче мошек.

И, повысив голос почти до визга, он сказал:

- Вот в эти пылинки и вселяются черти!

Я хорошо видел, что его рассказы пугают людей. Мне хотелось спорить с ним, но, когда я ставил ему вопросы, он не отвечал мне, а слушатели, толкая меня ногами и локтями, ворчали:

- Молчи!

Если осколок камня рассекал человеку кожу на лице или на ноге, горбун таинственным шёпотом заговаривал кровь. У одного парня вздулся огромный флюс, горбун слазил на гору, собрал там каких-то корней, трав, сварил их в чайнике, сделал из бурой, горячей кашицы припарку и, трижды перекрестив парня, сказал что-то смешное о камне Алатыре и о том, как Аллилуйя сидела на нём.

- Ну, ступай!

Я не заметил, чтоб он усмехнулся, хотя он имел достаточно оснований смеяться над людьми. Его лицо всегда было недоверчиво надуту, уши насторожены. С утра он влезал на солнечную сторону ущелья и чёрной птицей сидел там в камнях, покуривая, наблюдая за вознёй людей внизу. Люди иногда звали его:

- Башка!

Он быстро скатывался оттуда, и меня всегда удивляла ловкость, с которой он цеплялся руками и ногами за камни, изуродованные динамитом. Он примирял ссоры, беседовал с десятником, и его тонкий голосок не тонул в грохоте работы.

Десятник, толстый человек с деревянным лицом солдата, слушал его почтительно.

- Кто этот человек? - спросил я десятника, когда он раскуривал трубку у костра.

Оглянувшись, он ответил осторожно:

- Пёс его знает. Колдун, что ли. Оборотень какой-то...

Всё-таки мне удалось побеседовать с горбуном. Когда он, прочитав очередную лекцию о чертях и микробах, о болезнях и преступлениях, остался у костра, я спросил его:

- Зачем вы говорите им всё это?

Он взглянул на меня, сморщив переносье, отчего нос стал ещё острее, и горячей палкой хотел ткнуть в ногу мне. Отодвинув ногу, я показал ему кулак. Тогда он уверенно пообещал мне:

- Завтра тебя вздуют.

- За что?

- Вздуют.

Странные глаза его сердито блеснули, дряблая губа отвалилась, обнажив зубы; он сказал:

- У-у, р-рожа!

- Нет, серьёзно! Ведь не верите же вы в эту чепуху?

Он долго молчал, ковыряя палкой угли, размахивая ею над головой своей, и снова над нею мелькал, кружился красный нимб.

- В чертей? - неожиданно спросил он. - Почему же не верить в чертей?

Голосок горбуна звучал ласково, но фальшиво, и смотрел, он на меня нехорошо.

"Велит избить", - подумал я.

А он, всё так же ласково, стал спрашивать: кто я, где учился, куда иду? И, видимо, незаметно для себя, изменил тон, в словах его я почувствовал барское снисхождение, смешную небрежность "высшего" к "низшему". А когда я снова спросил его о вере в чертей, он, усмехаясь, заговорил:

- Ведь ты веришь во что-нибудь? В бога? В чудеса?

И - подмигнув:

- Может быть - в прогресс, а?

Огонь румянил его жёлтое лицо, и над верхней губой сверкали серебряные иголки редких, коротко подстриженных усов.

- Семинарист? Сеешь в народе "разумное, доброе, вечное"? Так?

Качнул голову, добавив:

- Дурачина! Я сразу понял, какая ты птица, я знаю эти ваши штуки...

Но, говоря, он подозрительно озирался, и что-то беспокойное явилось в нём.

На золоте углей извивались лиловые языки, цвели голубые цветы. В темноте над костром возник светлый колокол, мы сидели под его куполом, отовсюду на него давила сыроватая тьма, он дрожал. Тяжёлая тишина осенней ночи наполняла воздух, разорванные камни казались сгустками тьмы.

- Подложи дров.

Я бросил на угли охапку сучьев, колокол наполнился густым дымом, стало ещё темнее и тесней, потом сквозь сучья с треском поползли жёлтые змеи, свились в клубок и, ярко вспыхнув, раздвинули границы тьмы. И в то же время раздался голос горбуна, первые слова его прозвучали неясно, исчезли, не понятые мною. Он говорил тихо, как будто засыпая.

- Да, да, черти - не шутка... Такая же действительность, как люди, тараканы, микробы. Черти бывают разных форм и величин...

- Вы - серьёзно?

Он не ответил, только качнул голову, как бы стукнув лбом по невидимому, беззвучному, но твёрдому. И, глядя в огонь, тихонько продолжал:

- Есть, например, черти лиловые; они бесформенны, подобны слизнякам, двигаются медленно, как улитки, и полупрозрачны. Когда их много, их студенистая масса похожа на облако. Их страшно много. Они занимаются распространением скуки. От них исходит кислый запах и на душе делается сумрачно, лениво. Все желания человека враждебны им, все...

"Шутит?" - подумал я. Но если он шутил, то - изумительно, как тонкий артист. Глаза его мерцали жутковато, костлявое лицо заострилось. Он отгребал угли концом палки и лёгкими ударами дробил их, превращая в пучки искр.

- Черти голландские - маленькие существа цвета охры, круглые, как мячи, и

Чужие люди. Максим Горький gorkiymaxim.ru

лоснятся. Головки у них сморщены, как зерно перца, лапки длинные, тонкие, точно нитки, пальцы соединены перепонкой и на конце каждого красный крючок. Они подсказывают странное: благодаря им человек может сказать губернатору - "дурак!", изнасиловать свою дочь, закурить папиросу в церкви, да - да! Это - черти неосмысленного буйства...

- Черти клетчатые - хаос разнообразно кривых линий; они судорожно и непрерывно двигаются в воздухе, образуя странные, ими же тотчас разрушаемые узоры, отношения, связи. Они страшно утомляют зрение. Это похоже на зарево. Их назначение - пресекать пути человека, куда бы он ни шёл... куда бы ни шёл...

- Драповые черти напоминают формой своей гвозди с раздвоенным остриём. Они в чёрных шляпах, лица у них зеленоватые и распространяют дымный, фосфорический свет. Они двигаются прыжками, напоминая ход шахматного коня. В мозгу человека они зажигают синие огни безумия. Это - друзья пьяниц.

Горбун говорил всё тише и так, как будто затверживал урок. Жадно слушая, я недоумевал - что это: болтовня шарлатана или бред безумного?

- Страшны черти колокольного звона. Они - крылаты, это единственно крылатые среди легионов чертей. Они влекут к распутству и даже внешне напоминают женский орган. Они мелькают, как ласточки, и, пронизывая человека, обжигают его любострастней. Живут они, должно быть, на колокольнях, потому что особенно яростно преследуют человека под звон колоколов.

- Но ещё страшнее черти лунных ночей. Это - пузыри. В каждой точке окружности каждого из них непрерывно возникает, исчезает одно и то же лицо, прозрачно голубоватое, очень печальное, с вопросительными знаками на месте бровей и круглыми глазами без зрачков. Они двигаются только по вертикали, вверх и вниз, вверх и вниз, и внушают человеку неотвязную мысль о его вечном одиночестве. Они внушают: "На земле, среди людей, я живу только ещё в предчувствии одиночества. Совершенное же одиночество наступит для меня после смерти, когда мой дух унесётся в беспредельность вселенной и там навсегда, неподвижно прикованный к одной точке её, ничего, кроме пустоты, не видя, будет навеки осуждён смотреть в самого себя, вспоминая свою земную жизнь до ничтожных мелочей. Тысячелетия - только это одно: всегда жить воспоминаниями о печальной глупости земной жизни. И - неподвижность. Пустота..."

Он держал палку в костре неподвижно, и зубастые огоньки тихонько подбирались по ней к его руке. Когда коже руки стало горячо, горбун, вздрогнув, взмахнул палкой, согнал с неё огни, соскрёб угольки обгоревшего конца палки о камни, - она густо дымилась. Потом он снова начал дымящейся палкой отгребать угли из костра и дробить их, брызгая искрами. Замолчал.

Прошла минута, две. Было очень странно. Я спросил:

- Вы серьёзно верите...

Он не дал мне кончить, крикнув звонко:

- Пошёл прочь!

И погрозил мне дымившейся палкой:

- Завтра вздуют тебя!

Этого мне не хотелось, но я был уверен, что это вполне возможно. И, когда горбун отправился в барак, спать, - я ушёл по дороге во Владикавказ.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

Чужие люди. Максим Горький gorkimaxim.ru  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!